

Жизнь,
необыкновенные
и
удивительные
приключения
РОБИНЗОНА
КРУЗО,
моряка из Йорка,
прожившего двадцать восемь
лет
в полном одиночестве на необитаемом острове,
у берегов Америки,
близ устья великой реки
Ориноко,
куда он был выброшен кораблекрушением,
во время которого
весь экипаж корабля,
кроме него,
погиб,
с изложением его неожиданного освобождения
пиратами. Написано им самим.

Предисловие

Если существует на свете история приключений частного лица, заслуживающая стать всеобщим достоянием и быть повсеместно тепло принятой после ее публикации, то, как полагает издатель, такова именно эта история.

Чудесные приключения ее героя превосходят — издатель уверен в этом — все когда-либо описанные и дошедшие до нас; трудно представить себе, что жизнь одного человека может вместить такое разнообразие событий.

История рассказана просто, серьезно, с религиозным осмыслением происходящего, которым всегда могут воспользоваться люди умные, а именно — пояснить на примере сюжета мудрость и благость Провидения, проявляющиеся в самых разных обстоятельствах человеческой жизни.

Издатель убежден, что это повествование — лишь строгое изложение фактов, в нем нет ни тени вымысла. Более того, он должен сказать (ибо о таких вещах есть разные мнения), что дальнейшие улучшения, будь то для развлечения или для наставления читателей, только испортили бы эту историю.

Итак, не заискивая более внимания света, издатель публикует эту повесть такой, какая она есть, полагая, что тем самым оказывает большую услугу читателям.

Я родился в 1632 году в городе Йорке в почтенной семье, хотя и не коренного происхождения: мой отец приехал из Бремена и поначалу обосновался в Гулле. Нажив торговлей хорошее состояние, он оставил дела и переселился в Йорк. Здесь он женился на моей матери, которая принадлежала к старинному роду, носившему фамилию Робинзон. Мне дали имя Робинзон, отцовскую же фамилию Крейцнер англичане, по обычаю своему коверкать иностранные слова, переделали в Крузо. Со временем мы и сами стали называть себя и подписываться Крузо; так же всегда звали меня и мои знакомые.

У меня было два старших брата. Один служил во Фландрии, в английском пехотном полку, том самом, которым когда-то командовал знаменитый полковник Локхарт; брат дослужился до чина подполковника и был убит в сражении с испанцами под Дюнкерком. Что случилось со вторым моим братом — не знаю, как не знали отец и мать, что случилось со мной.

Так как в семье я был третьим сыном, то меня не собирались пускать по торговой части, и голова моя с юных лет была набита всякими бреднями. Отец мой, находясь уже в преклонном возрасте, позаботился, чтобы я получил вполне сносное образование в той мере, в какой его могли дать домашнее воспитание и бесплатная городская школа. Он прочил меня в юристы, но я мечтал о морских путешествиях и

слышать не хотел ни о чем другом. Эта страсть моя к морю оказалась столь сильна, что я пошел против воли отца, — более того, против его запретов, — и пренебрег уговорами и мольбами матери и друзей; казалось, было что-то роковое в этом природном влечении, толкавшем меня к злоключениям, которые выпали мне на долю.

Отец мой, человек степенный и умный, догадываясь о моих намерениях, предостерег меня серьезно и основательно. Прикованный подагрой к постели, он позвал меня однажды утром в свою комнату и с жаром принялся увещевать. Какие другие причины, спросил он, кроме склонности к бродяжничеству, могут быть у меня для того, чтобы покинуть отчий дом и родную страну, где я могу прилежанием и трудом увеличить свой достаток и жить в довольстве и с приятностью? Отчизну покидают в погоне за приключениями, сказал он, либо те, кому нечего терять, либо честолюбцы, жаждущие достичь еще большего; одни пускаются в предприятия, выходящие из рамок обыденной жизни, ради наживы, другие — ради славы; но подобные цели для меня или недоступны, или недостойны; мой удел — середина, то есть то, что можно назвать высшею ступенью скромного существования, а оно, как он убедился на многолетнем опыте, лучше всякого другого на свете и более всего для счастья приспособлено, ибо человека не гнетут нужда и лишения, тяжкий труд и страдания, выпадающие на долю низших классов, и не сбивают с толку роскошь, честолюбие, чванство и зависть высших классов. Насколько приятна такая жизнь, сказал он, можно судить хотя бы по тому, что все остальные ей завидуют: ведь и короли нередко жалуются на горькую участь людей, рожденных для великих дел, и сетуют, что судьба не поставила их между двумя крайностями — ничтожеством и величием, и даже мудрец, который молил небо не посылать ему ни бедности, ни богатства, тем самым свидетельствовал, что золотая середина есть пример истинного счастья.

Стоит только понаблюдать, уверял меня отец, и я пойму, что все жизненные невзгоды распределены между высшими и низшими классами и что реже всего их терпят люди умеренного достатка, не подверженные стольким превратностям судьбы, как высшие и низшие круги человеческого общества; даже от недугов, телесных и душевных, они защищены больше, чем те, у кого болезни порождаются либо пороками, роскошью и всякого рода излишествами, либо изнурительным трудом, нуждой, скудной и дурной пищей, и все их недуги не что иное, как естественные последствия образа жизни. Среднее положение в обществе наиболее благоприятствует расцвету всех добродетелей и всех радостей бытия: мир и довольство — слуги его; умеренность, воздержанность, здоровье, спокойствие духа, общительность, всевозможные приятные развлечения, всевозможные удовольствия — его благословенные спутники. Человек среднего достатка проходит свой жизненный путь тихо и безмятежно, не обременяя себя ни физическим, ни умственным непосильным трудом, не продаваясь в рабство из-за куска хлеба, не мучаясь поисками выхода из запутанных положений, которые лишают тело сна, а душу — покоя, не страдая от зависти, не сгорая втайне огнем честолюбия. Привольно и легко скользит он по жизни, разумным образом вкушая сладости бытия, не оставляющие горького осадка, чувствуя, что он счастлив, и с каждым днем постигая это все яснее и глубже.

Затем отец настойчиво и чрезвычайно ласково стал упрощать меня не ребячиться, не бросаться очертя голову навстречу бедствиям, от которых сама природа и условия жизни, казалось, должны меня оградить. Ведь я не поставлен в необходимость работать из-за куска хлеба, а он приложит все старания, чтобы вывести меня на ту дорогу, которую советует мне избрать; если же я окажусь неудачником или несчастным, то мне придется пенять лишь на злой рок или на собственные оплошности, так как он предостерег меня от шага, который не принесет мне ничего, кроме вреда, и,

исполнив таким образом свой долг, слагает с себя всякую ответственность; словом, если я останусь дома и устрою свою жизнь согласно его указаниям, он будет мне заботливым отцом, но ни в коем случае не станет способствовать моей гибели, поощряя к отъезду. В заключение он привел в пример моего старшего брата, которого он так же настойчиво убеждал не принимать участия в нидерландской войне, но все уговоры оказались напрасными: юношеские мечты заставили моего брата бежать в армию, и он погиб. И хотя, закончил отец, он никогда не перестанет молиться обо мне, но берется утверждать, что, если я не откажусь от своих безумных намерений, на мне не будет благословения Божия. Придет время, когда я пожалею, что пренебрег его советом, но тогда, может статься, некому будет прийти мне на выручку.

Я видел, как в конце этой речи (она была поистине пророческой, хотя, я думаю, отец мой и сам этого не подозревал) обильные слезы заструились по лицу старика, особенно когда он заговорил о моем убитом брате; а когда батюшка сказал, что придет время раскаяния, но помочь мне уже будет некому, то от волнения голос его дрогнул, и он прошептал, что сердце его разрывается и он не может больше вымолвить ни слова.

Я был искренне растроган этой речью (да и кого бы она не тронула?) и твердо решил не думать более об отъезде в чужие края, а остаться на родине, как того желал мой отец. Но увы! Через несколько дней от моей решимости не осталось и следа: короче говоря, через несколько недель после моего разговора с отцом я во избежание новых отцовских увещаний решил бежать из дому тайком. Я сдержал пыл своего нетерпения и действовал не спеша: выбрав время, когда моя мать, как мне показалось, была в более добром расположении духа, чем обычно, я отвел ее в уголок и признался, что все мои помыслы подчинены желанию повидать далекие края, и что, если даже я и займусь каким-либо делом, у

меня все равно не хватит терпения довести его до конца, и что пусть лучше отец отпустит меня добровольно, иначе я буду вынужден обойтись без его разрешения. Мне уже семнадцать лет, сказал я, а в эти годы поздно учиться ремеслу, и если бы даже я поступил писцом к стряпчему, то знаю наперед — я убежал бы от своего патрона, не дотянув до конца обучения, и ушел в море. Но если бы матушка уговарила отца хоть единожды отпустить меня в морское путешествие; ежели жизнь в море придется мне не по душе, я вернусь домой и не уеду более; и я могу дать слово, что удвоенным прилежанием наверстаю потерянное время.

Мои слова сильно разволновали матушку. Она сказала, что заговаривать с отцом об этом бесполезно, ибо он слишком хорошо понимает, в чем моя польза, и никогда не даст согласия на то, что послужит мне во вред. Она просто изумлена, что я еще могу думать о подобных вещах после моего разговора с отцом, который убеждал меня так мягко и с такой добротой. Конечно, если я твердо решил себя погубить, тут уже ничего не поделаешь, но я могу быть уверен, что ни она, ни отец никогда не согласятся на мою затею; сама же она несколько не желает содействовать моей гибели, и я никогда не буду вправе сказать, что моя мать потакала мне, в то время как отец был против.

Впоследствии я узнал, что хотя матушка и отказалась ходатайствовать за меня перед отцом, однако передала ему наш разговор от слова до слова. Очень озабоченный таким оборотом дела, отец сказал ей со вздохом: «Мальчик мог бы жить счастливо, оставшись на родине, но если он пустится в чужие края, он станет самым жалким, самым несчастным существом на свете. Нет, я не могу на это согласиться».

Прошел без малого год, прежде чем мне удалось вырваться на волю. В течение этого времени я упорно оставался глух ко всем предложениям заняться делом и часто пререкался с отцом и матерью, которые решительно противились тому, к чему меня столь сильно влекло. Однажды, когда я находил-

ся в Гулле, куда я попал случайно, без всякой мысли о побе- ге, один мой приятель, отправлявшийся в Лондон на кораб- ле своего отца, стал уговаривать меня ехать с ним, соблазняя, как это водится у моряков, тем, что мне ничего не будет стоить проезд. И вот, не спросившись ни у отца, ни у мате- ри, не уведомив их ни словом и предоставив им узнать об этом как придется, не испросив ни родительского, ни Божь- его благословения, не принимая в расчет ни обстоятельств, ни последствий, в недобрый — видит Бог! — час, 1 сентября 1651 года, я взошел на борт корабля, отправлявшегося в Лондон. Надо полагать, никогда несчастья и беды молодых искателей приключений не начинались так рано и не про- должались так долго, как мои. Не успел наш корабль выйти из устья Хамбера, как подул ветер, вздымая огромные, страш- ные волны. До тех пор я никогда не бывал в море и не могу описать, как худо пришлось моему бедному телу и как со- дрогалась от страха моя душа. И только тогда я всерьез задум- мался о том, что я натворил, и о справедливости небесной кары, постигшей меня за то, что я так бессовестно покинул отчий дом и нарушил сыновний долг. Все добрые советы моих родителей, слезы отца и мольбы матери воскресли в моей памяти, и совесть, которая в то время еще не успела окончательно очерстветь, терзала меня за пренебрежение к родительским увещаниям и за нарушение обязанностей пе- ред Богом и отцом.

Между тем ветер крепчал, и на море разыгралась буря, которая, впрочем, не шла в сравнение с теми, что я много раз видел потом, ни даже с той, что мне пришлось увидеть несколько дней спустя. Но и этого было довольно, чтобы ошеломить меня, новичка, ничего не смыслившего в мор- ском деле. Когда накатывалась новая волна, я ожидал, что она нас поглотит, и всякий раз, когда корабль падал вниз, как мне казалось, в пучину или бездну морскую, я был уве- рен, что он уже больше не поднимется на поверхность. И в этой муке душевной я неоднократно решался и давал себе

клятвы, что, если Господу будет угодно сохранить на сей раз мне жизнь, если нога моя снова ступит на твердую землю, я тотчас же вернусь домой к отцу и, покуда жив, не сяду на корабль, что я последую отцовским советам и никогда более не подвергну себя подобной опасности. Теперь я понял всю справедливость рассуждений отца относительно золотой середины; для меня ясно стало, как мирно и приятно прожил он всю жизнь, никогда не подвергая себя бурям на море и невзгодам на суше, — словом, я, как некогда блудный сын, решил вернуться в родительский дом с покаянием.

Эти трезвые и благоразумные мысли не оставляли меня, покуда длилась буря, и даже некоторое время после нее; но на другое утро ветер стал стихать, волнение поулеглось, и я начал понемногу осваиваться с морем. Как бы то ни было, весь этот день я был настроен очень серьезно (тем более что еще не совсем оправился от морской болезни); но перед закатом небо прояснилось, ветер прекратился, и наступил тихий, очаровательный вечер; солнце зашло без туч и такое же ясное встало на другой день, и гладь морская при полном или почти полном безветрии, вся облитая его сиянием, представляла восхитительную картину, какой я никогда еще не видывал.

Ночью я отлично выспался, от моей морской болезни не осталось и следа, я был бодр и весел и любовался морем, которое еще вчера так бушевало и грохотало и в такое короткое время могло затихнуть и явить собою столь привлекательное зрелище. И тут-то, словно для того чтобы изменить мое благоразумное решение, ко мне подошел приятель, смадивший меня ехать с ним, и, хлопнув меня по плечу, сказал: «Ну что, Боб, как ты себя чувствуешь после вчерашнего? Бьюсь об заклад, что ты испугался, — признавайся, ведь испугался вчера, когда задул ветерок?» — «Ветерок? Хорош ветерок! Я и представить себе не мог такой ужасной бури!» — «Бури! Ах ты, чудак! Так, по-твоему, это буря? Что ты! Это сущие пустяки! Дай нам хорошее судно да побольше про-

сторю, — мы такого шквалика и не заметим. Ну, да ты еще совсем неопытный моряк, Боб. Пойдем-ка лучше сварим пуншу и забудем об этом. Взгляни, какой чудесный нынче день!» Чтоб сократить эту грустную часть моей повести, скажу, что дальше пошло, как положено у моряков: сварили пунш, я порядком охмелел и потопил в разгуле той ночи все мое раскаяние, все размышления о прошлом моем поведении и все мои благие решения относительно будущего. Словом, как только на море воцарилась тишь, как только вместе с бурей улеглись мои взбудораженные чувства и прошел страх утонуть в морской пучине, так мысли мои повернули в прежнее русло, и все клятвы, все обещания, которые я давал себе в часы страданий, были позабыты. Правда, порой на меня находило просветление, здравые мысли еще пытались, так сказать, воротиться ко мне, но я гнал их прочь, боролся с ними, словно с приступами болезни, и при помощи пьянства и веселой компании скоро восторжествовал над этими припадками, как я их называл: в какие-нибудь пять-шесть дней я одержал столь полную победу над своей совестью, какой только может пожелать себе юнец, решившийся не обращать на нее внимания. Однако меня ждало еще одно испытание: как всегда в подобных случаях, Провидение пожелало отнять у меня последнее оправдание перед самим собою; в самом деле, если на этот раз я не захотел понять, что всецело обязан ему, то следующее испытание было такого рода, что тут уж и самый последний, самый отпетый негодяй из нашего экипажа не мог бы не признать, что опасность была поистине велика и спаслись мы только чудом.

На шестой день по выходе в море мы пришли на Ярмутский рейд. Ветер после шторма был все время неблагоприятный и слабый, так что после шторма мы двигались еле-еле. Здесь мы были вынуждены бросить якорь и простояли при юго-западном, то есть противном, ветре семь или восемь дней. В течение этого времени на рейд пришло немалое количество судов из Ньюкасла, ибо Ярмутский рейд обычно

служит местом стоянки для кораблей, которые ждут попутного ветра, чтобы войти в реку.

Впрочем, мы не простояли бы долго и вошли бы в реку с приливом, если бы ветер не был так свеж, а дней через пять не покрепчал еще больше. Однако Ярмутский рейд считается такой же хорошей стоянкой, как и гавань, а якоря и якорные канаты были у нас надежные; поэтому наши люди ничуть не тревожились и даже не помышляли об опасности — по обычаю моряков, они делили свой досуг между отдыхом и развлечениями. Но на восьмой день утром ветер усилился, и пришлось свистать наверх всех матросов, убрать стеньги и плотно закрепить все, что нужно, чтобы судно могло безопасно держаться на рейде. К полудню на море началось большое волнение, корабль стало сильно раскачивать; он несколько раз зачерпнул бортом, и два раза нам показалось, что нас сорвало с якоря. Тогда капитан командовал отдать запасной якорь. Таким образом, мы держались на двух якорях против ветра, вытравив канаты до конца.

Тем временем разыгрался жесточайший шторм. Растерянность и страх были теперь даже на лицах матросов. Я несколько раз слышал, как сам капитан, проходя мимо меня из своей каюты, бормотал вполголоса: «Господи, смилуйся над нами, иначе мы погибли, всем нам конец», — что не мешало ему, однако, зорко наблюдать за работами по спасению корабля. Поначалу на всю эту суматоху я взирал в оцепенении, неподвижно лежа в своей каюте рядом со штурвалом, и даже не знаю хорошенько, что я чувствовал. Мне было трудно вернуть прежнее покаянное настроение после того, как я сам его презрел и ожесточил свою душу; мне казалось, что смертный ужас раз и навсегда миновал и что эта буря пройдет бесследно, как и первая. Но, повторяю, когда сам капитан, проходя мимо, обмолвился о грозящей нам гибели, я неимоверно испугался. Я выбежал из каюты на палубу; никогда в жизни не приходилось мне видеть такой зловещей картины: на море вздымались валы вышиной с гору, и такая

гора опрокидывалась на нас каждые три-четыре минуты. Когда, собравшись с духом, я огляделся вокруг, то увидел тяжкие бедствия. На двух тяжело нагруженных судах, стоявших неподалеку от нас на якоре, были обрублены все мачты. Кто-то из наших матросов крикнул, что корабль, стоявший в полумиле от нас впереди, пошел ко дну. Еще два судна сорвало с якорей и унесло в открытое море на произвол судьбы, ибо ни на том, ни на другом не оставалось ни одной мачты. Мелкие суда держались лучше других — им было легче маневрировать; но два или три из них тоже унесло в море, и они промчались борт о борт мимо нас, убрав все паруса, кроме одного кормового кливера.

В конце дня штурман и боцман стали упрашивать капитана позволить им срубить фок-мачту. Капитан долго упирался, но боцман принялся доказывать, что, если фок-мачту оставить, судно непременно затонет, и он согласился, а когда снесли фок-мачту, грот-мачта начала так шататься и так сильно раскачивать судно, что пришлось снести и ее и таким образом освободить палубу.

Судите сами, что должен был испытывать все это время я — юнец и новичок, незадолго перед тем испугавшийся небольшого волнения. Но если после стольких лет память меня не обманывает, не смерть была мне страшна тогда; во сто крат сильнее ужасала меня мысль о том, что я изменил своему решению прийти с повинной к отцу и вернулся к прежним химерическим стремлениям, и мысли эти, усугубленные ужасом перед бурей, приводили меня в состояние, которого не передать никакими словами. Но самое худшее было еще впереди. Буря продолжала свирепствовать с такой силой, что, по признанию самих моряков, им никогда не случалось видеть подобной. Судно у нас было крепкое, но от тяжелого груза глубоко сидело в воде, и его так качало, что на палубе поминутно слышалось: «Кренит! Дело — табак!» Пожалуй, для меня было даже к лучшему, что я не вполне понимал значение этих слов, пока не попросил объяс-